



*Автор-составитель*

Наталья Громова

# Странники ВОИНЫ

Воспоминания  
детей писателей

1941–1944



РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Мемуары – XX век

**Странники войны. Воспоминания  
детей писателей. 1941-1944**

«Издательство АСТ»

2012

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941-1944 /  
«Издательство АСТ», 2012 — (Мемуары – XX век)

ISBN 978-5-17-154762-2

“Странники войны” — свод воспоминаний детей писателей, с первых дней войны оказавшихся в эвакуации в интернате Литфонда в Чистополе. Они голодали, мерзли и мечтали о возвращении в Москву, переживали гибель старших братьев и родителей, убегали на фронт... Но это было и время первой влюбленности, начало дружбы, которая, подобно пушкинской, лицейской, сохранилась на всю жизнь. Также в книгу вошли истории трех погибших юношей: Мура Эфрона, Никиты Шкловского, Всеволода Багрицкого. Составитель — писатель Наталья Громова (“Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах”, “Ольга Берггольц: смерти не было и нет”, “Именной указатель” и др.). Все ее книги основаны на обширных архивных материалах и рассказах реальных людей — свидетелей времени. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-154762-2

, 2012

© Издательство АСТ, 2012

## Содержание

Исток судьбы	6
Часть I	9
Наталья Громова	9
Встреча с неизвестной родиной	9
Война	13
Москва-река – Кама. 8 августа	15
Елабуга. 18–24 августа	17
Чистополь Цветаевой. 24–28 августа	19
Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа	22
31 августа	24
Похороны эвакуированных	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

**Наталья Громова**  
**Странники войны. Воспоминания**  
**детей писателей, 1941–1944**

© Громова Н.А., составление, вступительная статья

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

## *Исток судьбы*

Воспоминания о детстве чаще всего пишутся на склоне лет. Человеку необходимо вернуться к себе, чтобы понять исток своей судьбы. Детство героев этих мемуаров выпало на годы войны, которые оставили след в жизни каждого из них. Многие рассказы открываются картиной эвакуации из Москвы, которая началась уже в первых числах июля 1941 года. И дети, и подростки, оказавшись в далеком тылу, будут убегать на войну, голодать, плакать от одиночества, мечтать о встрече с родителями, жаждать возвращения в Москву.

Все истории складываются в общий сюжет: лето 1941 года в пионерлагере в Берсоте, несколько лет жизни в интернате Литфонда в Чистополе, где в первые же месяцы войны оказались герои этой книги. Каждый рассказывает о событиях и переживаниях тех дней, об известных людях, населявших Чистополь; мы видим происходящее глазами детей, воспринимающих жизнь очень по-разному – в силу воспитания и возраста.

Конечно, самое незабываемое – начало, слом мирной жизни. Тревоги взрослых, страх за будущее детей – и детское непонимание этих опасений. Наши герои отличались от обычных детей – их родители были прозаики, поэты, переводчики. Поэтому в одних семьях слышны пафосные речи, там верят в скорую победу, в других – разговоры о том, что страна не готова к войне, а немцы уже дошли до Москвы. В Чистополь вместе с писательскими детьми были эвакуированы антифашисты и их дети – настоящие немцы с иными манерами и поведением. И не всем хватало милосердия, чтобы понять, что эти люди ни в чем не виноваты. Но интернат учил их терпимости, осознанию того, что все они – разные. А лидеры старших мальчиков – Тимур Гайдар, Стасик Нейгауз и Гриша Курелла – показывали пример подлинного благородства.

Одно из событий, на которое обращают внимание почти все обитатели интерната, – появление в сентябре в Чистополе Георгия (Мура) Эфрона, сына Марины Цветаевой. Советскими детьми, плохо одетыми, воспитанными в презрении к внешнему, ироничный юноша с хорошими манерами, в заграничном костюме воспринимался как инопланетянин. Всякий, кто его хоть раз увидел, уже не мог забыть никогда. И конечно же, все обсуждали в интернате судьбу его матери, многие родители знали ее стихи, переписывали их от руки, обсуждали и осуждали поведение Асеева, который должен был взять мальчика к себе.

Георгий Эфрон по воле случая дважды отправлялся в эвакуацию: сначала в Елабугу и Чистополь, потом в Ташкент. В его горьких странствиях по тылам страны, в его судьбе видна вся бесприютность и одиночество подростка, оказавшегося в Советской стране. Он погиб на фронте уже через неделю после пребывания на передовой, как и сын поэта Эдуарда Багрицкого Всеволод, чья мать пропадала в лагерях. Никите Шкловскому и Юнику Кушникову удалось окончить школу в Чистополе, они ушли на фронт и погибли, не дожив несколько месяцев до победы.

Другое яркое воспоминание – страшная гибель на военных занятиях осенью 1942 года нескольких мальчиков, среди которых был пасынок Василия Гроссмана Михаил. Весь город хоронил мальчиков. Так война ворвалась в интернат, который находился вдали от линии фронта. Об этой ужасной истории вспоминают Елена Левина и Евгений Зингер.

И еще одно лицо, к которому было приковано внимание обитателей интерната, их родителей и даже жителей города, не очень разбирающихся в поэзии. Это Борис Леонидович Пастернак. Он не был похож ни на кого, отличался всем от основного населения писательской колонии. О его радостной улыбке пишут многие чистопольцы, встречавшие его с судками на улице или галантно расшаркивающегося в писательской столовой; его портрет мы найдем почти в каждом очерке. “Жизнь в Чистополе хороша уже тем, – говорил Пастернак своему собеседнику А. Гладкову, – что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии: нас страшит мороз,

радует оттепель – восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением, и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии...”

Огромным счастьем для детей стало то, что интернат возглавила Анна Зиновьевна Стонова, профессиональный педагог, сумевшая создать особый климат в доме. Она ко всем относилась ровно, никогда не повышала голоса. Порой в своей комнате тайно подкармливала молоком и хлебом особенно слабых детей. Такой же добротой отличалась и заведующая литфондовским детским садом Фаина Петровна Коган, которая потеряла на войне сына и всю любовь отдавала своим маленьким воспитанникам.

Авторы воспоминаний откровенно и искренно, не боясь выглядеть смешными или наивными, делятся с нами уникальным опытом становления детского самосознания, ведь им приходилось и разгадывать сложные вопросы, и находить трудные ответы. Удивителен рассказ Лены Левиной – про то, как их с Алешей Сурковым, двенадцатилетних детей, послали ловить дезертиров, что чуть не кончилось для них трагедией.

Мемуарные очерки написаны ярко, своеобразно, у каждого автора свой, отличный от другого взгляд, угол зрения, своя интонация. Возможно, на подсознательном уровне писательские дети унаследовали способности родителей, даже не подозревая об этом. Парадокс в том, что многие из них с детства получили антиписательскую прививку. Никто из родителей не хотел, чтобы дети занимались литературой или были связаны с ней, не хотели судьбы гонимого, вечно зависимого, униженного и рискующего своей головой писателя. Конечно, у кого-то были дачи в Переделкине и поездки в Дома творчества, литературские пайки, но были и годы нищеты, запреты печататься, аресты. Любая гуманитарная профессия была настолько идеологизированной, что для взрослых было несомненно: если сын или дочь пойдут по этому пути, добра не будет. Но литературный дар не обошел почти никого: дети оказались литературно приметливы, оригинальны и остроумны, может быть, еще потому, что чистопольская жизнь была пропитана особым воздухом. Несмотря на тяжкие условия быта, все жили в сгущенной атмосфере искусства, которая возникала из-за определенной свободы существования в глубинке. Все запомнили чтение Пастернаком своего перевода шекспировской трагедии “Ромео и Джульетта” и его замечательных стихов в Доме учителя, чтение Марии Петровых, незабываемые концерты пианистки Елизаветы Лойтер, спектакли с участием Ангелины Степановой, исполнительский талант юного Станислава Нейгауза, который он оттачивал каждый вечер в интернате на старом рояле, первое исполнение “Василия Теркина” Твардовского и “Землянки” Суркова.

В чистопольском интернате сложилась общая атмосфера любви к поэзии, к чтению книг, которые сопровождали бывших интернатовцев всю их жизнь. Их дружба во многом походила на лицейскую и сохранилась до конца дней.

“Странники войны” – лишь небольшая часть огромного свода воспоминаний писательских детей. Это логическое продолжение сборника “Чистопольские страницы” (Казань, 1987), в котором история чистопольской эвакуации была представлена в документах и частично в произведениях писателей и которого не могло бы быть без огромной работы краеведа и заслуженной учительницы города Чистополя Нины Степановны Харитоновой и ее учеников. Именно этот труд и побудил меня к созданию книги “Дальний Чистополь на Каме” (Москва; Елабуга, 2005).

“Странники войны” состоят из двух частей. В первой рассказывается о трех погибших юношах Георгии Эфроне, Никите Шкловском и Всеволоде Багрицком, но нельзя не упомянуть и тех, кто ушел из интерната на фронт и не вернулся: Юрий Арго, Юрий Кушнеров, Наталья Дзюбинская.

Вторая часть – и есть собственно свод воспоминаний, которые касаются не только военного детства, но и довоенной жизни.

Книга иллюстрирована большим объемом семейных фотографий, а в конце приводится расширенный указатель имен.

Незаменимую помощь в работе над рукописью оказали Ольга Минина, Валентин Масловский, Эсфирь Красовская и Дом-музей Цветаевой, где часто собирались “чистопольские дети” и где проходили выставки, посвященные эвакуации из Москвы в Чистополь и Елабугу.

Наталья Громова



## Часть I

### Наталья Громова *Жизнь и гибель Георгия Эфрона*

#### Встреча с неизвестной родиной

Георгий Эфрон (Мур), сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, родился в Чехии, до четырнадцати с половиной лет жил во Франции, затем приехал с матерью в Советский Союз. Был воспитан на высочайших образцах мировой культуры, свободно изъяснялся по-французски, прекрасно разбирался в политике, общественной жизни, культуре. Он одевался как денди, умел вести светские разговоры. В отличие от юношей своих лет, не хотел идти на войну, но был призван, попал в стройроту, где служили в основном уголовники, а спустя короткое время был отправлен на передовую.

Уделом последних двух лет его жизни стало сопротивление судьбе. Он хотел жить, хотел учиться, хотел стать писателем, изо всех сил ограждал себя от грубости, хамства, насилия, предчувствуя, что угроза исходит именно отсюда. Но он так и не сумел увернуться. Рок, уничтоживший его семью, поглотил не только отца и мать – он забрал и его.

Какой же была короткая жизнь Георгия Эфрона на фоне всеобщей катастрофы?

Марина Цветаева и ее сын ступили на советскую землю 18 июня 1939 года. Они пришли из французского порта Гавр в Ленинград пароходом “Мария Ульянова”. До них весной 1937 года в Советский Союз приехала Ариадна Эфрон. С первых дней она стала посылать в Париж восторженные письма о Москве, москвичах, новых улицах, домах, кремлевских звездах и первомайских парадах. Поздней осенью 1937 года в Москве появился ее отец Сергей Эфрон.

С начала 1930-х годов Сергей Эфрон возглавлял в Париже “Союз возвращения на Родину”, был завербован органами НКВД, которые за определенные “услуги” обещали наградить его советским паспортом. Дело Игнатия Рейсса навсегда стало частью истории семьи Эфрона – Цветаевой. Бывший советский разведчик-нелегал с огромным стажем Игнас Порецкий (Рейсс) работал в органах с первых дней советской власти. 17 июля 1937 года он отправил письмо в Москву, где наотрез отказался сотрудничать с НКВД. Письмо было перехвачено советскими агентами, и в тот же день его участь была решена. Сергею Эфрону была поручена слежка за Рейссом, дальнейшее исполнили другие лица.

Скорее всего, Эфрон не видел письма Рейсса. Возможно, письмо остановило бы его. Эфрон был человеком благородным, он мог бы оценить честность бывшего разведчика, мог бы понять и почувствовать его отчаяние, боль за свою страну, которая катится в пропасть. Но все свершилось, Рейсс был убит, а Сергей Эфрон бежал в Советский Союз. Во французских газетах появились списки имен предполагаемых убийц и их пособников, где оказалось и его имя.

От Цветаевой отвернулась вся русская эмиграция; ее нигде не приглашали, перестали печатать, избегали прежние знакомые. Кроме того, ее стали вызывать в полицейский участок на допросы по поводу занятий ее мужа. Оставалось одно – возвращаться с сыном в Советскую Россию, хотя ее и мучили дурные предчувствия.

19 июня 1939 года вся семья собралась на Болшевской даче в поселке НКВД “Новый быт”. Дача, по роковому совпадению, принадлежала покончившему с собой Томскому. Сюда

же поселили Клепининых – знакомых Цветаевой и Эфрона по Парижу, бежавших из Франции. Для “искупления вины” (участие в белом движении и последующая эмиграция) им было предложено стать агентами НКВД. Бывшие эмигранты не могли себе представить, в какую ловушку попали. Цветаева, увидев мужа после двухлетней разлуки и предчувствуя нависшую опасность, записала: “Обертон – унтертон всего – жуть! <...> Начинаю понимать, что С[ергей] бессилен, совсем, во всем”.<sup>1</sup>

Но Ариадна Эфрон не ощущала надвигающейся беды. “Счастлива я была – за всю жизнь – только в этот период – с 1937 по 1939 год в Москве, именно в Москве и только в Москве. До этого я счастья не знала”. В редакции журнала “За рубежом” она встретила человека, которого полюбила, и знала, что он любит ее. Спустя годы в письме поэтессе Маргарите Алигер она рассказывала о нем: “Был у меня, когда-то в молодости, муж, как у всех прочих, и, естественно, не такой, как у всех прочих – лучше всех!”

Самуил (Муля) Давыдович Гуревич, которого Ариадна считала мужем, был человеком сложной судьбы, и даже в наше время, когда многое стало известно, однозначно оценить его роль в жизни семьи Цветаевой очень трудно. Родился он в Швейцарии в семье профессиональных революционеров, рос в Америке, в пятнадцать лет приехал в Россию. Блистательно знал несколько языков, был близок к Михаилу Кольцову, но, как ни странно, даже после его ареста Мулю Гуревича не тронули. Мало того, он был исключен с 1929-го из партии за “троцкистский уклон”, трижды подавал прошение о восстановлении, и неожиданно в 1940 году прошение удовлетворили. А ведь это случилось уже после ареста Ариадны Эфрон, и об их отношениях органы были прекрасно осведомлены. Нет сомнения, что, находясь на высоких должностях в “Жургазе”, в ТАССе, постоянно контактируя с иностранными корреспондентами агентства “Reiter” и “Associated Press”, он сотрудничал с НКВД. Но он неизменно помогал оставшимся на свободе Цветаевой и Муру преодолевать все выпадающие на их долю бытовые трудности, был их постоянным помощником и советчиком. Ему удалось спасти Алю, когда за отказ доносить лагерное начальство угрожало ей смертью: из Москвы он сумел устроить так, что ее перевели в другой лагерь. Однако в конце концов и Муля Гуревич попал под каток сталинских репрессий: в 1950 году был арестован, а в 1952-м расстрелян.

27 августа 1939 года за Ариадной Эфрон пришла эмгэбэшная машина, и жизнь ее разломилась на две части – до ареста и после. На Лубянке начались ночные допросы, карцер, битье резиновой дубинкой. От нее требовали, чтобы она дала показания против отца. В какой-то момент Аля не выдержала и “призналась”, что является шпионкой, а ее отец – агент иностранной разведки. Когда же немного пришла в себя, от всего отказалась, но это уже не имело никакого значения. На Сергея Яковлевича уже давно было заведено дело, бериевский аппарат избавлялся от всех, кто работал на СССР за границей. Арестовали его 10 октября 1939-го. “8 ноября 1939 года мы ушли из Болшево – навсегда...” – писала Марина Цветаева дочери в лагерь. Это место казалось ей проклятым, даже любимые ими обеими кошки погибли здесь.

А в это время мир в изумлении смотрел, как Молотов и Риббентроп заключают пакт о ненападении и Советский Союз “мирно” присоединяет к своей территории Прибалтику и Западную Украину. 1 сентября немцы вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война.

Марине Цветаевой с Муром по ходатайству Бориса Пастернака удалось на время устроиться в писательском Доме творчества в Голицыне. Несмотря на страх перед Болшевской дачей, где почти все жильцы были арестованы, Цветаева вынуждена была поехать туда за вещами. Выяснилось, что милиционер, который сжег в печке часть их семейной библиотеки, удавился на ремне. Место действительно оказалось проклятым.

Что же в это время чувствовал Мур?

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в письмах сохранена авторская пунктуация.

Семейный корабль уже шел ко дну, а мальчик пытался снова и снова разобраться в жизни взрослых, в жизни своей семьи. Но более всего хотел вписаться в советскую реальность, иметь друзей, хорошо учиться. Дневник, который он вел, заменял ему несуществующего друга. В нем он анализировал как международную обстановку, так и загадку ареста своей сестры, отца и соседей по даче. Он еще верил в справедливость советской власти, верил в то, что его отец делал замечательные дела. Конечно, в глазах Мура отец – герой, который боролся с фашизмом, посылая бойцов в Испанию, выполнял особые поручения для родной страны. Он был уверен, что с отцом и сестрой разберутся и их освободят.

“Вспоминаю со сложным чувством кислосладкой трагичности дачу в Болшеве, – писал он в дневнике. – Больной сердцем отец и тасканье мое с ним на почту в Болшево, где долго ждали телефона. Жара. Отец почти седой, с палкой, в сером пиджаке. Благородное, умное и кроткое лицо. Именно благородное. Нервный. Я его очень жалею и жалел. Неладно у него было с сердцем – нередко припадки, и приходила Нина Николаевна со шприцом. Поездки с отцом в город и встреча с человеком из НКВД. Приезды в Болшево Алеши (теперь высланного на 8 лет). Гулянье его и Митьки (Сеземана, пасынка Клепининых. – Н. Г.) и езда на лодке. Устраивание колец и каждое утро занятия мои физкультурой под руководством отца. Но нет. Вспоминать об этом поистине трагическом времени в Болшеве не стоит. Жаль отца; жаль, что он угодил в тюрьму. Бедный отец! Но надеюсь, что его оправдают. Алю жалко, но отца больше жалко. Как он самоотверженно работал во Франции! Сколько он там замечательного дела сделал”.

Цветаева ездит в Москву, выстаивает очереди в окошечко на Кузнецком мосту – приемный пункт НКВД, передает посылки мужу и дочери. В июне 1940 года выясняется, что Сергея Эфрона нет ни в Лефортово, ни во внутренней тюрьме на Лубянке. Цветаева мечется от окна к окну, предполагая, что он в госпитале или уже умер. В июне арестовывают еще одного знакомого Эфрона, тоже возвращенца, – архитектора Павла Балтера. Мур, которому, заметим, только пятнадцать лет, пишет: “Перевод отца из Лефортовской тюрьмы в НКВД и арест Балтера, бесспорно, означают «оживление» дела. Возможно, отца перевели в НКВД с целью сделать очную ставку между ним и Балтером”.

В дневнике Мура есть текст, напоминающий по стилю аналитическую записку НКВД. Он поражает невероятной осведомленностью мальчика в шпионских делах отца. Он знает многих из проходящих по “делу Рейсса”. Каждому из них он дает подробную психологическую характеристику. Из этих записей следует, что Мур постоянно присутствовал при разговорах взрослых и не раз ходил с отцом (об этом он упоминает в дневнике) на встречу с агентами. Ему известны детали вербовки бойцов в Испанию, он упоминает о рассказах некоего Кордэ. Кто же это? Это одно из имен Константина Родзевича, бывшего возлюбленного Цветаевой, друга Эфрона и агента НКВД. Как могло случиться, что подросток был посвящен в опасные игры взрослых?

Мур верил, что статус отца, смелого советского разведчика, изменит его собственную жизнь. Однако оказалось, что в СССР они с матерью вновь стали гонимыми, бездомными бывшими эмигрантами. Жизнь шла по иному сценарию.

В Доме творчества Голицыно, возле которого они поселились после бегства из Болшева, было немногим лучше. Когда они приходили обедать, многие писатели при виде Цветаевой шарахались в сторону, а те, с кем удавалось более-менее дружески пообщаться, разговаривали лишь на отвлеченные темы. Мур, который вынужден был здесь учиться, мечтал о нормальной жизни в Москве, о новых знакомствах. Он хотел попасть в хорошую московскую школу и научился приспосабливаться к советским реалиям: просить известных писателей хлопотать за себя, стоять в очередях в РОНО, ходить по инстанциям.

Ему трудно с матерью, с ее поэзией, которая нравится только узкому кругу знакомых.

Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи – поэмы – может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери – совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. Вообще я думаю, что книга стихов или поэм – просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги, и хочет только переводить.

Мать со стихами, которые нигде не печатали, представлялась ему неким обломком прошлого. Он любил стихи Маяковского, Асеева, Багрицкого и даже Долматовского.

Ему очень нравится Митька Сеземан, пасынок Клепинина, с которым он знаком еще с Парижа. Тот старше на три года, выше ростом, а главное, умеет иронично относиться к жизни. Когда они встретились, Митя очень забавно разобрал их общие семейные обстоятельства: его родители тоже сидят в тюрьме. А о высылке своего брата он говорил, что ему она не повредит, а даже пойдет на пользу. Митя остроумен, самоуверен, с ним можно обсуждать женщин, и Муру очень хочется быть на него похожим. Они вместе решают, что Париж закончился с их отъездом, а теперь там уже немцы. К сожалению, им нельзя с Митей часто видаться, приходится встречаться тайно, их дружбу осуждает мать, считая, что семья Клепининых оклеветала отца. Но Митя – единственный мальчик на свете, у которого общая с Муром судьба, и Мур ужасно дорожит этой дружбой. Взрослые, терзаемые взаимными подозрениями, не одобряют их встреч, Самуил Гуревич требует от Мура, чтобы тот перестал общаться с товарищем. Мур сначала обманывает взрослых, а затем, уже не скрываясь, ходит с Митей повсюду – в букинистические магазины, в оперу, в кафе, по улице Горького. И хотя он видит в нем и лицемерие, и жадность, и эгоизм, и неверность в дружбе, все-таки, не найдя никого ближе, уже после смерти матери в письме из Чистополя к тетке будет умолять: “...разыщите Митьку... Он мой единственный друг”.

В самый канун войны, в середине июня, Мур стал встречаться с девочкой из своего класса. Он так давно желал этого, изнемогая от одиночества, от неудовлетворенных юношеских желаний! Он строит самые разнообразные планы на будущее. Мечтает об отдельной комнате, о самостоятельности. Его все больше и больше тяготит статус “сына Марины Ивановны”, он хочет, чтобы окружающие оценили его собственные достоинства. А тем временем мать терзает постоянными скандалами и претензиями соседи по коммуналке. “Я знаю, что когда-нибудь я буду жить самостоятельно, что я избавлюсь от всех проблем, что я смогу прямо смотреть всем в глаза, а не исподлобья, как теперь. Я вылезу, потому что я настойчив и умен, и я надеюсь на свое будущее”.

А будущего уже нет. Ход истории незаметен, но неумолим.

“Мура ты не узнала бы, – писала Марина Цветаева дочери в лагерь, – он худой, прозрачный, руки как стебли (или как плети, очень слаб), все говорят о его хрупкости. <...> Внутри он все такой же суровый и одинокий и – достойный: ни одной жалобы – ни на что”.

Марина Ивановна, и это видно из немногочисленных писем к Але в лагерь, чувствовала по отношению к сыну неизбывную вину. За его болезни, одиночество, безытность. Те, кто видел их в Москве в 1941 году вместе, говорили о том, что Мур держался от матери обособленно, раздражался на нее. Если они вместе шли по улице, он пытался идти отдельно, а она нелепо кидалась к нему, хватала, как маленького, за руку.

Потом, из ташкентского одиночества, наступившего после ее смерти, в письме к сестре он отзовется о матери значительно мягче: “...насчет книги о маме я уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем – написала же Эва Кюри про свою знаменитую мать”. Но к этому пониманию Мур шел через такие испытания, какие другого подростка просто сломали бы.

## Война

18 июня 1941 года Мур с матерью, Алексеем Кручёных и Лидией Либединской гуляют в Кусково, катаются в пруду на лодке. О фотографии, на которой они все снялись, Мур пишет: "...фотография чудовищная, как и следовало ожидать". Это последняя фотография, на которой мать и сын вместе.

"22 июня – война; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покр<овскому> бульвару", – записала Марина Цветаева. Теперь ее преследовал страх бомбежек, страх за сына, которому по-мальчишески интересно дежурить на крыше дома на Покровке, где они ютились в комнате в коммуналке. Москву стали бомбить уже через месяц после начала войны и бомбили почти ежедневно, хотя первое сообщение об этом появилось в газете "Вечерняя Москва" только 27 июля. "На Москву налетело около ста самолетов противника, но к городу прорвалось не более пяти-семи. В Москве возникло несколько пожаров, есть убитые и раненые".

А немного раньше 16 июля 1941 года Мур беспощадно проанализирует в дневнике собственную жизнь и жизнь своей семьи, которой раньше так втайне гордился. Почему в эти дни он с такой трезвостью посмотрит в глаза реальности?

С некоторого времени ощущение, меня доминирующее, стало распад. <...> Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в разладе... Семьи не было, был ничем не связанный коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой – сестра переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР. Распад семьи был не только в антагонизме – очень остром – матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать оказали на меня совершенно различные влияния, и вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разногласия и идеологический сумбур. Процесс распада продолжался пребыванием моим в католической школе Маяра в Кламаре. <...> Все моральные – так называемые объективные – ценности летели к чорту. Понятие семьи – постепенно уходило. Религия – перестала существовать. Коммунизм был негласный и законспирированный. Выходила каша влияний. Создавалась довольно-таки эклектическая философски-идеологическая подкладка. Процесс распада продолжался скоропалительным бегством отца из Франции... отъездом из дому в отель и отказом от школы... далекой перспективой поездки в СССР и вместе с тем общением – вынужденно-матерьяльным – с эмигрантами. Распад усугублялся ничегонеделаньем, шляньем по ка-фэ... политическим положением, боязнью войны, письмами отца, передаваемыми секретно... какая каша, боже мой! Наконец отъезд в СССР. По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня... большое значение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. <...> И я поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались раздоры между Львовыми (Клепиниными. – Н. Г.) и нами, дразги из-за площади, шляния и встречи отца с таинственными людьми из НКВД... Слова отца, что сейчас еще ничего не известно. Полная законспирированность отца, мать ни с кем не видится, я – один с Митькой. <...> Тот же распад, только усугубленный необычной обстановкой. Потом – аресты отца и Али, завершающие распад семьи окончательно. Всё, к чему ты привык – скорее, начинаешь привыкать, – летит к чорту. Это и есть

разложение и меня беспрестанно преследует. Саморождается космополитизм, деклассированность и эклектичность во взглядах. <...> Наконец – Покровский бульвар. Как будто прочность. Договор на 2 года. Хожу в школу, знакомлюсь, привыкаю. Но тут скандалы с соседями. <...> Кончаю 8-й класс – причем ни с кем не сблизился... Никакой среды не нашел, да и нет ее. <...> Тут – война! И всё опять к чорту. <...> Все это я пишу не из какого-то там пессимизма – я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать факты. Пусть с меня не спрашивают доброты, хорошего настроения, добродушия, благодарности. Пусть меня оставят в покое. Я от себя не завишу и пока не буду зависеть, значить ничего не буду. Но я имею право на холодность, с кем хочу. Пусть не попрекают меня моими флиртами, пусть оставят меня в покое. Я имею право на эгоизм, так как вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика. Я ничего не прошу.

Всё, абсолютно всё оказалось в его жизни призрачным. Отца и сестру не выпустили из тюрьмы, ни в чем не разобрались. Стихи матери не печатают, еле-еле берут переводы. У него нет никакого статуса – так и не ставший советским, но уже и не французский юноша, он вне всякого социума. С началом войны Мур ощутил полное отсутствие будущего. В силу своего эгоизма он оказался вне патриотического настроения своих сверстников – чувства, которое объединило целое поколение его ровесников. Ироническая, язвительная маска настолько прочно приросла к его лицу, что, уже оказавшись в эвакуации в полном одиночестве и страдая от этого, он, может быть, и жаждал ее снять, но уже не умел без нее жить.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили престарелая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке и вспоминали о двенадцати кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запах старости и кошек смешивался воедино. Он хотел вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощала то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Но многим было невыносимо смотреть им в глаза, понимая, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура же эти мысли и разговоры – тоже из области распада и разложения.

28 июля 1941 года Мур пишет в дневнике:

У многих людей дома почти целиком разрушены. 9 часов вечера. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я, по крайней мере, немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше.

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуируемым, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили. Каждый день Цветаева ходила в Литфонд, чтобы как-то уехать из города. Создавались всё новые и новые группы, люди рвались уехать подальше от Москвы. Совсем скоро эти же писатели будут умолять руководство вернуть их назад в собственные дома.

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:

Попомню я русскую интеллигенцию!.. Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панфёровым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно не известно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет.

Его счет с интеллигенцией, так он определяет мечущихся советских писателей, будет продолжаться и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, – это было в крови отца, матери, старшей сестры – внутренне всю свою короткую жизнь оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге обывателей, мало чем отличных от французских буржуа, так раздражавших его родителей. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим Марину Ивановну.

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боится бомбежек и кто их не боится. Лидия Либединская рассказывала, что они с полугодовой дочкой, мамой и бабушкой вскоре перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу: она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.

В начале августа Цветаева уже собрала все вещи и искала возможности покинуть город, но Мур не желал уезжать, сопротивлялся как мог. Он хотел остаться, вместе с другими мальчишками тушить зажигалки, общаться с редкими знакомыми. И все-таки 8 августа 1941 года они покинули Москву.

## **Москва-река – Кама. 8 августа**

8 августа Пастернак вместе с Виктором Боковым (тот посылал вещи для своей семьи) провожали с Речного вокзала пароход с эвакуирующимися, среди которых была и Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован через Литфонд стараниями Тамары Ивановой для сестры и тещи Всеволода Иванова.

Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани вместе с Львом Александровичем Бруни, – они провожали Цветаеву. Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. Она была растеряна, не знала, как следует поступить, и эта растерянность усугублялась раздражением сына, уставшего от ее метаний.

Врач Берта Михайловна Горелик отплывала тем же пароходом: “Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где дети. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я им ответила: что со мной будет, то и с ребенком. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь”.

Пароход “Александр Пирогов” был старый, шел медленно.

“Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мур, – но не стоит беспокоиться о комфорте – комфорт не русский продукт”. Однако Мура утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын поэтессы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе. Вместе они окажутся в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.

Берта Горелик вспоминала:

Двенадцать дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бредельша ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву.

Та была бледная, серого цвета. Волосы бесцветные, с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах. Я не знала, что муж расстрелян, что дочь посажена, я не знала, что им нельзя жить в Москве. Я ничего этого не знала. Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь.

В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда Марина Ивановна придет хлопотать о возможности жить и работать в Чистополе.

Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она нет.

“Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе.

– Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть.

Я ей говорю, ваше дело писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что существует такая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила:

– Кому теперь нужны мои стихи?

Я ей сказала, вы знаете, я бы, конечно, с удовольствием вас взяла, но я же еду всего на две недели”.

Все на пароходе говорят о том, где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею все больше.

Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться:

В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов.)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях “Тропинка во ржи”: “Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, надеяться... Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя



Судя по всему, место переводчицы ими подробно обсуждалось, и даже было отправлено письмо в Казань на имя секретаря Союза писателей Имамутдинова. В Горьком пересели на “Советскую Чувашию”. И пароход двинулся дальше. И все-таки вряд ли кто-то обращал внимание в те дни на невысокую седую женщину. Она терялась среди огромного людского моря, которое волнами устремлялось в стороны от Москвы.

### Елабуга. 18–24 августа

В Чистополе на пароход поднялись женщины, которые ехали в Берсут в детский лагерь. Они уговаривали Цветаеву после Елабуги вернуться в Чистополь. Они говорили, что там много писателей, что необходимо осесть там, и все устроится. Как известно из воспоминаний Лидии Корнеевны Чуковской, Флора Лейтес, жена писателя Александра Лейтеса, которая работала в интернате, обещала похлопотать о прописке и дать Цветаевой телеграмму.

Итак, 18 августа Цветаева с сыном высадились на берег. Плыли они до Елабуги десять дней, что, конечно же, немало.

В Елабуге первое, что они увидели, была старая пристань. Длинная, тягостная дорога в город. На холмистых пыльных улицах расплзающиеся старые не то избушки, не то сараи. Заборы – кривые, косые, серее серого. Весь город похож на одинокую улицу на пригорке – с тремя соборами, цепочкой купеческих особняков, в которых горсовет, библиотека, НКВД, Дом культуры. На горе над Елабугой – Чертово городище. Его когда-то поставили на высоком берегу Камы волжские булгары. Сооружение из плоских камней словно перемигивается с соборами, стоящими по другую сторону. По одну сторону – черт, по другую – Бог. Перед недолгим убежищем, домом Бродельщиковых, невдалеке – Покровский собор. От Покровского бульвара в Москве – к Покровскому собору в Елабуге...

С парохода всех ведут в библиотечный техникум. “Елабуга похожа на сонную, спокойную деревню”, – замечает Мур в дневнике. Цветаева дает телеграмму в Чистополь Флоре Лейтес.

19 августа Мур писал в дневнике, что хотел бы жить вместе с Сикорскими; Вадим вспоминал, что Марина Ивановна сказала: “Давайте поселимся вместе, пусть мальчики подружатся”. Однако не вышло.

Видимо, Цветаева идет в горсовет, где предлагает себя в качестве преподавательницы французского языка. Лидия Либединская вспоминала, как накануне войны Цветаева говорила, что могла бы позаниматься с ней французским, пусть и бесплатно.

В этот день они ждут ответную телеграмму от Лейтес. Посылают телеграмму сами. Мур пишет в дневнике, что Асеева в Чистополе нет, он в Казани. Но Асеев в Чистополе. По свидетельству Лидии Чуковской, Флора Лейтес приходит на почту с телеграммой, чтобы написать Цветаевой об отказе в прописке Асеева и Тренёва. Чуковская ее отговаривает, ей кажется, что Цветаеву не надо травмировать: приедет и устроится сама.

20 августа. Телеграммы все еще нет. Цветаева идет в горсовет узнать про работу. Сикорская почему-то писала, что Цветаева отказывалась от мысли поступать на службу и не искала работу. Но это не так. Скорее всего, Цветаева делилась с ней своими опасениями, что на любом месте потребуют документы, заполнения анкеты, а это приведет к излишнему интересу к ее особе. В тот же день Мур пишет, что ей предложили быть переводчицей с немецкого в НКВД. Но это вовсе не означает, что Цветаева ходила в НКВД. Просто в райсовете, горсовете была специальная комната (это помнят все, кто жил в советские времена), где сидели люди из органов. Наверное, когда она сказала какому-нибудь мелкому чиновнику, какими языками владеет, ее автоматически направили в такую комнату, откуда и пришел запрос на людей, умеющих изъ-

ясняться по-немецки. Несомненно, конторе был необходим человек, владеющий языком, тем более что в Елабуге готовились организовать лагерь военнопленных. Ведь это была не Москва, где переводчика было найти очень легко.

Версия о том, что Цветаеву пытались вербовать, кажется сомнительной. Ведь мы знаем из дневников Мура, что М.И. сама пошла в горсовет в поисках работы, сама рассказывала о знании языков, о возможности их применить. Ее французский в Елабуге не нужен.

Надо отдать должное Муру, шестнадцатилетнему подростку, он тоже ищет работу: обходит библиотеки, канцелярии – любые места, где есть хоть какая-нибудь надежда получить место. “Мне жалко мать, но еще больше жалко себя самого”, – пишет он.

Их багаж все еще на пристани, его перевезут в общежитие, так как комнаты еще нет.

20 августа Вадима Сикорского назначают заведующим клубом. Наверное, не обошлось без энергичного участия его матери – Татьяны Сикорской. Она была переводчицей, автором многих советских песен. Радость от получения этой должности, отданной девятнадцатилетнему юноше, омрачается, когда выясняется, что всех предыдущих заведующих – посадили.

Мур надеется, что будет работать с Сикорским в клубе, рисовать плакаты, карикатуры, но выясняется, что за это платят гроши. Нина Саконская, с которой ехали на пароходе, устраивается учительницей пения. А у Цветаевой и Мура не видно никаких перспектив.

Как это получается? Приехали вместе, со взрослыми сыновьями, казалось бы, у всех одни и те же возможности, однако видно, насколько они различны. Если на пароходе в разговорах о работе маячила какая-то надежда, то теперь Цветаева и Мур оказались по сути лишенными какого бы то ни было будущего в Елабуге. Впереди зима, и необходимость быть хоть как-то устроенными, иметь карточки абсолютно для каждой семьи была вопросом жизни и смерти.

Сикорская, устроив сына, собирается ехать в Москву к мужу, а затем вернуться в Елабугу. Но к ее возвращению ни Цветаевой, ни Мура уже не будет. И ее сын Вадим Сикорский, последний оставшийся в живых свидетель тех дней, в своих воспоминаниях так и не рассказал, что произошло после смерти Цветаевой. Его записи туманны, основаны на дневниках матери, которая, как мы видим, была с Цветаевой в Елабуге только до катастрофы.

Итак, перспектив нет. На Чистополь делается последняя ставка. Мур язвительно пишет: “Самое ужасное то, что во всем этом есть трагичность, все это отдает мелодрамой, которую я ненавижу”.

Комнаты распределяет горсовет, куда определяют, там и надо жить. Мур отмечает в дневнике, что лучшие будут отданы семьям и профессорам филиала Ленинградского университета, которые прибывают 21 августа. Интересно, что сюда с университетом приедет сын Алексея Толстого Никита, а затем к нему 30 ноября 1941 года отец его жены – Михаил Лозинский, который всю войну будет переводить в Елабуге “Божественную комедию”, а именно ее вторую часть – “Чистилище”.

21 августа Цветаева и ее сын наконец переезжают в комнату, предоставленную горсоветом. Это изба на улице Ворошилова, 10. Им отвели часть горницы, отделенную перегородкой, не достававшей до потолка. За занавеской, так как двери в комнату не было, можно было попасть в пяти-шестиметровый угол с тремя окошками на улицу. В закутке – кровать, кушетка, стул и тумбочка. Фамилия хозяев – Бродельщиковы.

Мура раздражает все – комната, город, улица, уже и новые товарищи. Видимо, 22 и 23 августа Мур и Марина Ивановна заняты поиском работы, переживанием новых обстоятельств. Они решают, что пора ехать в Чистополь, подгоняет еще то, что вещи остались на пристани – нераспакованные.

Цветаева панически боялась что-либо предпринимать сама – это видно по всем ее решениям. Ее судьбу определяли самые разные люди, которые оказывались в тот момент поблизости. Она сама писала о потере воли – то, что с ней происходило, можно определить только так.

24 августа, так и не получив долгожданную телеграмму от Лейтес, Цветаева сама отправляется на пароходе в Чистополь вместе с Сикорской, которая едет в Москву. Там же – некая дама из Литфонда по фамилии Струцовская, на советы которой все время ссылается Мур. Куда она подевалась в Чистополе – неясно. Известно, что Цветаева с собой берет шерсть для продажи. “Настроение у нее – самоубийственное, – пишет Мур после ее отъезда, – деньги тают, а работы нет”.

В Елабуге с мальчиками остается Нина Саконская, детская поэтесса и писательница, мать Саши (Лельки) Соколовского. Эту маленькую красивую женщину грядущая катастрофа задевает непосредственно.

### **Чистополь Цветаевой. 24–28 августа**

23 августа Виноградов-Мамонт описывает в дневнике картины чистопольской жизни: “А в городе плач: 2000 мобилизованных отправили из города на фронт. Тяжелая будет зима!”

Все эти дни по городу в грязи по колено идут толпы плачущих женщин и детей. На этом фоне московская публика, и в частности Ангелина Степанова с писателями, в Доме культуры ставят 25 августа “Любовь Яровую” Тренёва.

Берта Горелик рассказывала, что к ним стала иногда приезжать Цветаева. Однако у сказчика мог произойти некоторый сдвиг в памяти. Ей казалось, что Цветаева приезжала несколько раз, а скорее всего, в те дни она несколько раз заходила к Елизавете Бредель, жене писателя-антифашиста Вилли Бределя.

Приезжала и боялась оставаться ночевать, уезжала последним пароходом. Я уходила, чтоб им не мешать. Они говорили по-немецки, а я ничего не понимала, но не прислушивалась, старалась не мешать им. В один из дней предложила остаться переночевать, места в доме хватало, но Цветаева не осталась. Перед самым отъездом, зашла в дом и принесла огромный рулон гарусной шерсти, великолепного цвета, вынула ее и сказала:

– Купите у меня за 100 рублей.

Я была поражена.

– Да что вы говорите, 100 рублей стоит килограмм картошки на рынке, вы лучше свяжите себе кофту, зима ведь идет.

Я сказала, что могу дать ей 100 рублей, только не надо продавать эту шерсть. Но она отказалась, пошла к матери Долматовского, и та купила.

Возможно, из того горестного (гарусного) рулона шерсти была связана хорошая кофточка. В письме к Маргарите Алигер от начала 1942 года из Чистополя Наталья Тренёва (Павленко) упоминает о вязании: “И наконец – мы вяжем, да как – запоем, не отрываясь. Софка связала себе две кофточки, чудесные, надо сказать. Я, как более занятая по хозяйству, успела связать только одну. Мы даже в театр пытаемся ходить с вязаньем”. Софка – это Софья Долматовская, жена поэта Евгения Долматовского.

На улице Цветаева встретила Галину Алперс, жену театрального критика Бориса Алперса. Они были знакомы еще по пароходу. Сказала ей и женщинам, стоявшим рядом (одна из них была Елена Санникова), что хочет перебраться в Чистополь, но прописки и работы нет. На что Галина Алперс повторила ей то, в чем потом убеждала и Лидия Чуковская: главное приехать – пропишут. Алперс приводила в пример свой случай. А что касается работы, то женщины как раз обсуждали организацию писательской столовой. Тогда Цветаева и сказала им, что готова работать посудомойкой, это показалось ей выходом из положения.

Но столовая откроется только в октябре, встреча же на улице закончится тем, что Цветаева уйдет с Еленой Санниковой. О том, как переплетется судьба этих двух женщин, речь впереди, но самоубийство Санниковой через два месяца молва отнесет к той встрече, к отра-

жению в ее судьбе гибели Цветаевой. Подруга Санниковой Галина Алперс написала, что они ушли с Цветаевой боковой улицей, взявшись за руки.

Есть еще одно любопытное свидетельство. Оно принадлежит писательнице Наталье Соколовой (Типот). В письме к Марии Белкиной, которое Соколова послала ей после выхода книги Белкиной “Скращение судеб”, она рассказывает, что в первые месяцы эвакуации оказалась со своим маленьким сыном, заболевшим дизентерией, в чистопольской больнице. А ее мать жила в одной комнате с Жанной Гаузнер, дочерью Веры Инбер. Именно у них Цветаева провела одну из тех августовских ночей. Спустя годы Жанна Гаузнер, обсуждая с Натальей Соколовой те дни, вспоминала о Цветаевой: “Она плохо понимала реальную жизнь. Хотела работать на кухне, и это казалось ей нетребовательностью, величайшим смирением”. Получается, что ночь, проведенная в доме матери Н. Соколовой и Ж. Гаузнер, была после уличного разговора о столовой для писателей.

Какой бы унижительной ни казалась нам та записка, которую Цветаева написала о желании быть посудомойкой, но реальность была еще ужасней. Не так-то просто было получить и это место. Устроиться так, чтобы быть поближе к еде, хотелось многим. Может быть, кто-то объяснил Цветаевой, что и здесь перспективы нет?

Меньше всего Цветаевой был свойственен прагматический подход: мысль о том, чтобы оказаться рядом с кухней и оттуда что-то выносить, вряд ли приходила ей в голову. Место посудомойки было самым ничтожным, по ее представлениям, и она была готова и на него.

“Ты же помнишь войну? – говорила Гаузнер Наталья Соколовой. – Все были голодны, все хотели работать на кухне, поближе к пище, горячей пище, кипящему котлу. Изысканный поэт Парнах, полжизни проведенный в Париже, сидел при входе в столовую (не то интернатскую, не то общую писательскую), не пускал прорывающихся местных ребяташек, следил, чтобы приходящие не таскали ложек и стаканов, – и был счастлив, что так хорошо устроился. Зина Пастернак была сестрой-хозяйкой детсада, работала день и ночь, львиную долю полагающейся ей еды относил Пастернаку. Ну как было объяснить Цветаевой, что место поварихи на кухне важнее и завиднее, чем место поэта?” И еще Гаузнер вспоминала, что, когда Цветаева ночевала у них, она все повторяла: “Если меня не будет, Асеевы о Муре позаботятся”. Это было вроде навязчивой идеи. “Должны позаботиться, не могут не позаботиться”; “Мур без меня будет пристроен”.

Известно, что в Чистополе Цветаева переночевала у Валерии Владимировны Навашиной, второй жены Паустовского, о чем написано в воспоминаниях Л.К. Чуковской. Однако у Паустовского была уже в 20-х числах августа комната, которая соседствовала с асеевской. Это подтверждается строками из письма критика А. Дермана к И. Новикову, который поселился в этой комнате после отъезда Паустовского в Алма-Ату.

“Мы в Чистополе с 3 августа, – пишет он. – Довольно много времени в усилиях «устроиться», долго прожили в общежитии и т. д. А потом вдруг повезло. Паустовский с семьей решил уехать в Алма-Ату, и ко мне перешла принадлежавшая ему комната, отличная, необыкновенная, теплая, в центре. Сосед мой по комнате – Асеев с женой и бельсерами. Был здесь обильный и дешевый рынок, сейчас – скудный и дорогой”.

Таким образом, получается, что Цветаева, ночуя в комнате Паустовских, не могла не общаться с Асеевым и сестрами его жены Оксаны. Как уже говорилось, сначала Асеев вместе с Тренёвым не подписал Флоре Лейтес разрешение на прописку Цветаевой в Чистополе. Когда же он лично встретился с Мариной Ивановной, то такое разрешение дал – но не устное, а письменное. На собрание он не пошел, вместо этого прислал записку с согласием. Тренёв остался при своем мнении.

Судя по письму жены поэта Зенкевича Александры Николаевны, 20 августа в Чистополь в военной форме прибыл К.Г. Паустовский. За несколько месяцев войны он побывал в Одессе, где пытался организовать фронтовую газету, затем, в самом начале августа, вернулся в Москву,

обнаружил, что его квартира в Лаврушинском переулке разбомблена, и, пожив немного на даче у Федина, приехал к семье в Чистополь. Он не мог не встретить Цветаеву, хотя бы потому, что входил в совет по делам эвакуированных. Но почему он ничего об этом не писал? И когда Цветаева ночевала у Навашиной, где был Паустовский?<sup>3</sup>

Ксения (Оксана) Синякова, жена Асеева, комнаты которой соседствовали с навашинскими, рассказывала потом Белкиной, что Цветаева приходила к ним в Чистополе и они ее принимали. Ксения подчеркивала: хорошо принимали. Может быть, это и толкнуло Цветаеву к тому, чтобы завещать сына Асееву и сестрам Синяковым.

Паустовский, как выясняется, не успел узнать о судьбе Цветаевой и ее сына. Он покинул город, когда весть о самоубийстве еще не долетела до Чистополя, и было это 1 или 2 сентября, о чем писала Лидия Чуковская в письме к отцу. А свою комнату Паустовский и Навашина передали близкому другу, “старик” Дерману, с которым писатель дружил в еще довоенной Ялте. Так тот оказался рядом с Асеевым.

Но вернемся к странствиям Цветаевой по Чистополю.

Лидия Чуковская писала, что встретила Цветаеву 26 августа. В тот день проходило собрание Совета эвакуированных, решавшее ее судьбу. Лидия Корнеевна была совершенно уверена, что та пропишется в городе. Это следовало и из ее собственного опыта, в чем-то близкого цветавской судьбе: у Чуковской был расстрелян муж. “Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла, – писала она в очерке «Предсмертие». <...> Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренёва и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда ни единой”.

Цветаева сидела с Чуковской в коридоре и ожидала, пока закончится партийное собрание. Из кабинета вышла Вера Смирнова (тогда она была партгором писательской организации Чистополя) и сказала Марине Ивановне, что ей нечего волноваться, судьба ее решена, она может прописываться. Против был один только Тренёв, все остальные согласны. С Чуковской они пошли в гости к Татьяне Арбузовой и Михаилу Шнейдеру, где Цветаева читала стихи, хотела вернуться к ним вечером, переночевать, но так и не пришла.

Как недавно выяснилось, она была и у еврейского писателя Нояха Лурье, с которым приятельствовала в 1940 году в Голицыне. В письме из Израиля его внука Юлия Винер, которой тогда было шесть лет, пишет:

---

<sup>3</sup> В переписке с Ирмой Кудровой, автором биографии Марины Цветаевой, я подтвердила свои сведения о пребывании Паустовского в Чистополе. В ответ она выслала мне отрывок из дневника Л. Левицкого (секретаря Паустовского): “...она [Ирма Кудрова] считает, что я выдумываю, говоря, что Паустовский участвовал в чистопольском заседании, на котором решалась судьба Цветаевой. Но я никогда не утверждал, что Паустовский там присутствовал. Я ограничивался констатацией того, что К.Г. мне рассказывал об этом заседании и ругательски ругал председательствовавшего на нем Тренёва. Тогда, когда шел этот разговор, мне в голову не пришло осведомиться у него, рассказывает ли он то, чему был свидетелем, или передает это с чужих слов. Вера Васильевна Смирнова в ноябре шестьдесят второго поделилась со мной, что у нее хранится записка Марины Ивановны, в которой та просит устроить ее работать в столовой судомойкой, и заодно рассказала, что лучше всех в защиту Цветаевой выступил Паустовский. С другой стороны, почти все в один голос говорят, что, когда решалась участь Марины Ивановны, К.Г. в Чистополе еще не было”. Но теперь можно достоверно утверждать, что он приехал 20 августа, а выехал из Чистополя 1 или 2 сентября. Дата приезда Паустовского есть и в письме жены Зенкевича 20 августа, в письме Л.К. Чуковской к отцу от 21 августа, где говорится о приезде в Чистополь Квитко и Паустовского. Вторая дата находится в той же переписке Л.К. Чуковской с отцом, это письмо от 4 сентября 1941 года. Здесь всё вместе: и отъезд Паустовского, и гибель Цветаевой. “Паустовские, – пишет Лидия Корнеевна, – уехали в Алма-Ату, Шнейдеры – тоже <...> Сегодня 4.9. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну Цветаеву. Она повесилась”. Эти сведения, несомненно, привез в Чистополь Мур. Но Паустовские точно уехали “до” – письмо длинное и пишется частями.

Цветаеву я в Чистополе видела, это правда, и именно у моего дедушки Нояха Лурье (я была в литфондовском детдоме, а он приехал позже и жил в какой-то лачуге в самом Чистополе), но никакого зрительного образа не сохранилось, я и понятия не имела, кто это, осталось только общее ощущение ужасной неприкаянности и несчастья, а я, сама в то время несчастная и неприкаянная, очень сильно это воспринимала. И потому эта женщина была мне неприятна, и хотелось, чтобы поскорей ушла. Может быть, я даже что-нибудь в этом роде ей и сказала.

Это стало известно почти случайно, сам Ноях Лурье не оставил воспоминаний о той встрече, может быть, из-за ее мимолетности.

Виноградов-Мамонт записывает в дневнике 27 августа – в последний день, когда Цветаева находилась в Чистополе:

Шел в 11 ч. в музей, а дорогу мне пересекла страшная процессия: 800 мобилизованных (35–42 лет), бородатых, изнуренных колхозников с мешками за спинами шагали к пристани. Кое-кто из них на руках несли детей. А вокруг каждого мобилизованного бойца воют бабы и по 5–6 ребятишек <...> рядом жена заливается горькими слезами, детишки прижимаются к отцу, быть может, в последний раз.

Эту картину не могла не видеть Цветаева. В Гражданскую она с лихвой хлебнула горя – голод, смерть ребенка, холод, страх, отчаяние. Принять в себя снова эту горечь – видимо, было не по силам.

Вот и на пристани, где встретила Лизу Лойтер, пианистку, жену поэта Ильи Френкеля, попросила вместо себя купить билет на пароход. Было много пьяных, Цветаева боялась их. Можно только представить, как пили мужики, уходя на фронт. Не случайна фраза из предсмертного письма Цветаевой о судьбе сына: «Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного».

Дочь Елизаветы Лойтер Марина Ковальская вспоминала: «Когда мама встретилась с Цветаевой, она везла в Казань к главному врачу Юру Барта, у которого был поражен глаз, который, насколько помню, не удалось врачам спасти.

Я запомнила из рассказа мамы только то, что М.И. обратилась к ней с просьбой купить билет до Елабуги. Она была, по словам мамы, страшно измучена и голодна. А у мамы из еды был только арбуз, который они втроем и съели на пристани.

Содержание их разговора я не помню, или мама не передала мне его».

## **Без меня Мур будет пристроен... 28–31 августа**

Возвращение в Елабугу было тяжелым. Опять спорили с Муром, искали возможный выход. 29 августа решили брать подводу и ехать на пристань. Мур собирался выписаться из военкомата. 30 августа все изменилось. Точно так же было в Москве: казалось бы, они всё определили, решили – и вдруг все рушилось в последний момент.

Вчера к вечеру мать еще решила ехать завтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н.П. Саконская и некая Ржановская, которые посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда – там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Саконская сказали,

что ils ne laisseront pas tomber<sup>4</sup> мать, что они организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать – как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т. д. Пусть разбирается сама.

Можно только представить, что устроил ей Мур, когда они остались одни. Но он тоже на что-то рассчитывал. 31 августа – последний день каникул, он хотел идти в школу в Чистополе – это был его главный аргумент.

В последний день Цветаева была у Саконской. Либединская вспоминает, что уютный уголок, который она сумела создать в чужом доме в Елабуге, нравился Цветаевой. В закутке висело бакинское сюзане, которое та привезла с собой.

Вышитое на сатине, тогда это модно было, надо было как-то стены прикрывать. Это сюзане было большое, как ковер. На Востоке всегда оставляют несделанный завиток, потому что кончается работа, кончается жизнь. Такой завиток есть на всех ручных коврах. Саконская рассказывала, что Цветаевой сюзане очень нравилось. Оно спускалось со стенки и накрывало пружинный матрац, а рядом стояла настольная лампа, которую Саконская тоже привезла с собой из Москвы. Цветаева любила садиться в свете лампы на фоне сюзане. Саконская так и запомнила ее в предпоследний вечер. И еще она сказала, что отговаривала ее уезжать.

Нина Саконская умерла в 1951 году. Ариадна Эфрон разыскала Татьяну Сикорскую, но о попытках списаться с Саконской ничего не известно. Благодаря дневникам Мура сегодня можно узнать о тех, кто был в те дни рядом с Цветаевой.

Была некая Ржановская, еще семья Загорских. Кое-что о них удалось узнать. Все-таки рядом были писатели, кроме того, с Саконской у Цветаевой было множество прежних общих знакомых. Ждали вот-вот сотрудников Ленинградского университета, может быть, их и имели в виду Саконская и Ржановская, когда говорили о преподавании среди писателей французского языка.

Валентина Марковна Ржановская жила в Елабуге на Тойминской улице, дом № 1. Ее муж Евгений Семенович Юнга (Михейкин) был писателем и военным журналистом, работал в газете “Фронтовик”. А Загорский Михаил Борисович был в 1920–1930-е годы известным театральным критиком, его материалы, освещавшие театральную жизнь, в том числе и еврейских театров ГОСЕТ, “Габима” и других, часто появлялись в печати. Беда в том, что Загорский умер, как и Саконская, в 1951-м, когда до признания Цветаевой оставались считанные годы.

Собрано много рассказов елабужцев о том, что они разговаривали, общались с несчастной женщиной; в воспоминаниях многие полагают, что это была Цветаева. Однако вполне возможно, что они, спустя годы припоминая те дни, любую растерянную эвакуированную женщину могли счесть Цветаевой. Писатели в этом смысле более надежный народ, хотя бы потому, что они пусть отдаленно, но представляли, что она за поэт, или слышали о ней в Москве, как, например, Берта Горелик.

---

<sup>4</sup> Они не бросят (*фр.*).

## 31 августа

Судя по предсмертной записке, Цветаева была абсолютно уверена, что сын в Елабуге не останется, а уедет в Чистополь. И как ей представлялось накануне, один он сможет устроиться лучше, чем с ней. Видимо, и на нее действовала советская идеология, представление о том, что заботу о сироте государство возьмет на себя. Как это ни печально, но, скорее всего, такая возможность – пусть в запале, пусть в ссоре – накануне могла ими обсуждаться. Мур же пишет в дневнике, что последние дни мать просила освободить ее, говорила о самоубийстве. И главное, на что хотелось бы обратить внимание: много говорилось о предсмертной записке родным, записке Асееву, но записка писателям, на мой взгляд, не до конца осмыслена.

<ПИСАТЕЛЯМ> Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н.Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом – сложить и довести в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет* (выделено М.И. Цветаевой. – Н. Г.). Адр<ес> Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте.

Цветаева пишет именно елабужским писателям, а не чистопольским. Просит их позаботиться о мальчике, посадить его на пароход. Почему хотела отправить Мура к Асееву? Все-таки нельзя отказаться от мысли, что такое доверие к нему и сестрам Синяковым могло возникнуть в последнюю поездку в Чистополь при более короткой встрече с поэтом, о которой нам ничего не известно.

Итак, два самых близких человека, мать и сын, были истерзаны обстоятельствами, истерзаны друг другом. Вместо поддержки они мучили и боролись друг с другом. Оттого, наверное, и прозвучали слова Мура, так поразившие окружающих, о том, что Марина Ивановна поступила правильно. Но уже отмечалось, что жалость, боль, сочувствие к матери пришло позже, в Ташкенте, когда мера одиночества и даже одичания Мура превысила все возможные пределы. Вот тогда он и напишет в письме о ее страдании накануне гибели.

О самоубийстве написано много. О том, как в тот день Цветаева осталась одна, как ее нашли. Дневник Мура так и не прояснил, как проходили похороны, где оказалась могила; кто ее нашел, кто вынул из петли уже стало областью мифов. Но зато появилось много косвенных свидетельств. Сопоставив их с прежними, можно увидеть нечто новое. Еще раз попробуем разобраться в людях, которые окружали Мура в тот день. Ведь не к мальчикам обращала она свое письмо о помощи Муру.

Вадим Сикорский говорит, что 31 августа он сидел в кинотеатре и смотрел фильм “Гроза”. После вопля Катерины и молний на экране вдруг раздался женский крик: “Сикорский!” Сикорский пишет: “Я бросился к выходу. Жена писателя Загорского сообщила: «Марина Ивановна повесилась. Хозяин вернулся домой и наткнулся...»”

Мур, который боялся войти в дом, увидеть покойницу, ушел ночевать к Сикорскому. Весь следующий день он был в милиции, откуда забрал записки матери, в больнице, где получил свидетельство о смерти, в загсе, где взял разрешение на похороны. Когда он пишет, что М.И. была “в полном здравии в момент самоубийства”, то, скорее всего, имеет в виду результаты медицинского освидетельствования, которые были указаны в справке из больницы.

Через день, 2 сентября, ее хоронили. “Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище”. По всей вероятности, провожали Цветаеву Мур, Саконская с сыном, Сикорский, Ржановская, супруги Загорские...

Конечно, хотелось расспросить фактически единственного оставшегося свидетеля тех дней – Вадима Сикорского. Хотя, судя по его собственным воспоминаниям, трудно было наде-



яться на что-то новое. Но случай вскоре представился сам. Он позвонил Марии Белкиной, чтобы обсудить с ней дневники Мура, та попросила разрешения поговорить с ним мне. Сикорский был доброжелателен, но вопросы принимал в штыки, говоря, что давно уже все рассказал. Вот запись нашего разговора.

В. С.: Мур был замкнутым, молчун. Я был потрясен, когда прочел его дневники. Я не представлял, что он такой... умный, все понимает. Он никогда ничего не говорил, не обсуждал.

А Цветаева... она мне казалась ужасно старой, все время сидела и вязала. Я даже не представлял, какой она поэт. Она мне читала свою поэму “Царь-Девница”. Мне ужасно не понравилось. Узнал ее как поэта только спустя восемь лет. И был буквально потрясен. Елабуга была страшная. Там были не писатели, а какая-то мелочь. Я их и не читал никогда. Там был страшный быт. Мы выживали. И в этом нет ничего интересного. Мур ко мне пришел на одну ночь.

Н. Г.: Вы ее хоронили?

В. С.: Почему вы спрашиваете? (*После паузы.*) Можете считать, что меня там не было. Всем нужно про место на кладбище, всем, а зачем оно? Я как в дыму был. Пил тогда очень.

Н. Г.: В дневниках Мура написано, что будто бы Цветаева хотела, чтобы вы жили вместе. Хотела, чтоб мальчики дружили.

В. С. (*смеется*): Мама боялась влияния Мура на меня. Хотя чем он мог на меня влиять? Только высокомерным своим видом и молчанием. Они оба меня раздражали, честно скажу. Особенно когда в моем присутствии говорили по-французски. Мне казалось, что это ужасно неприлично. Культурные люди, а пользуются тем, что я не понимаю... В ту ночь прибежал ко мне, весь трясся...

...Я пришел (был списан) с Тихоокеанского флота. Меня комиссовали. Хотели снова забрать в армию, но я был по здоровью не годен.

Мне мать говорила, что в Елабуге будут писатели, будет интересно. А оказалась страшная дыра... Вы знаете, я вспоминать об этом не могу... Мне плохо, когда вспоминаю... Вот Аля – другое дело, с ней мы с мамой много общались.

## Похороны эвакуированных

*Когда кривляться станет ни к чему  
И даже правда будет позабыта,  
Я подойду к могильному холму  
И голос подниму в ее защиту...*

**Б. Пастернак**

Разговор о могиле Цветаевой начался очень скоро. В начале 1942 года в Елабуге на той же Тойминской улице, где жила Ржановская, поселилась близкая приятельница Пастернака Марика Гонта.

В письме от 25 сентября 1942 года Пастернак просил ее: “Напишите, в каком состоянии могила Цветаевой. Есть ли на ней крест, или камень, или надпись, или какой-нибудь отличительный знак?” Марика отвечает 12 октября 1942 года: “О Марине напишу особо. Когда хоронили Добычина, пытались установить место, где лежит Марина, и с некоторой вероятностью

положили камень”. Как часто бывает, письма, в котором Марика собиралась особо сообщить о Марине, не сохранилось.

Я решила узнать, кто такой Добычин и когда его похоронили. Выяснилось все довольно скоро. В письме в Союз писателей на имя Фадеева З.Ф. Серякова, жена Н.Е. Добычина, пишет: “1 октября мой муж умер, пролежав пять месяцев в больнице, я осталась в Елабуге одна, так как все мои родные и близкие в Москве”. А 9 октября 1942 года М. Загорский и В. Ржановская, то есть те же люди, что были возле Мура в последние дни, просят руководство Союза писателей дать разрешение жене Добычина на въезд в Москву, чтобы позволить ей разбирать архив мужа. Тот Добычин, как оказалось, – переводчик с алтайского языка.

А вот письмо М. Загорского в Союз писателей Л. Скосыреву от 15 октября 1942 года:

С сожалением начинаю свое письмо печальной вестью: 1 октября умер Н.Е. Добычин. Сегодня мы его хоронили. Вот уже вторая потеря, первой была Марина Цветаева. Из членов Союза оказались здесь всего трое: я, Марголис и Зелинский. Н.П. Саконская уехала в Москву...

Еще одно несчастье, происшедшее спустя два месяца, – самоубийство Елены Санниковой. Санникова погибла позже, в октябре, но, забегаая вперед, придется рассказать о ней именно здесь.

Известие о смерти Цветаевой принес Мур, приплывший в Чистополь. И вот чистопольский хроникер Виноградов-Мамонт фиксирует:

4 сентября. <...> утром пришло известие: мне перевели из Москвы 100 руб<лей>... Денег на почте я не получил, ибо в кассе – пусто <...>. (Там от одной писательницы узнал, что Марина Цветаева повесилась). Веселый, солнечный день и темно-синяя (“сапфирная”) Кама <...>

В этой записи особенно поразителен конец. Не надо думать, что хроникер – человек недобрый. Спустя два месяца он покажет себя с самой наилучшей стороны.

25 октября. Суббота. <...> В четвертом часу я заезжал в столовую – узнать новости. Сел с Арским за столик – глотать “шрапнель” (кашу). Вдруг приходит женщина и просит кого-нибудь из писателей помочь перенести труп Елены Санниковой (Обрадович сказал мне утром, что она повесилась), жены Григория Санникова – поэта. Никто из писателей не пошел. Я не считал возможным отказать в такой просьбе. Пришел на Красноармейскую, 125. На дворе лавка, на ней труп, накрытый простыней. Дали мне ее паспорт. Я взглянул на карточку, – и узнал в ней даму, которая 4 сентября сообщила мне: “Марина Цветаева повесилась”.

Все-таки жизненная драматургия невероятна. Ведь кто-то другой мог рассказать Виноградову-Мамонту о Цветаевой, не Санникова.

“Мне пришлось, – пишет хроникер, – сопровождать труп в морг. Я попросил Нейштадт, жену переводчика, сообщить жене, что я остался на собрании.

Возница был учитель, хозяин квартиры, где жила Санникова. Оказалось, что она боялась нищеты. Получая 800 рублей в месяц, она прятала деньги, а иногда безрассудно их тратила – и потом приходила в Литфонд за пособием.

Считалась ненормальной психологически женщиной. Вчера вечером принесли ей повестку, отправляли в колхоз. А утром она повесилась на печной отдушине, поджав ноги. <...> Мальчик, сын 14 лет, обнаружил труп. С учителем мы в темноте (был шестой час вечера) проехали, утопая в грязи на кладбище. Не нашли ворота. Объехали кругом и потом между могил – провезли свою колымагу до морга (то есть простой избы – мертвецкой). По дороге лицо покойницы открывалось, и я задерживал простыню. У морга я с учителем переложил труп

на носилки и внес в морг, где положили рядом с голым трупом какого-то мужчины... Сколько раз я встречался с поэтом, и он не знал, какую услугу суждено мне было оказать его жене. Поехали обратно, в полной темноте, оставив позади и морг, и сторожку, где шло пьянство и раздавались песни”.

Вот так в городе, где у Санниковой было много знакомых, вез ее в морг чужой человек.

Галина Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигающейся зимы, все время повторяла: “Как мы переживем зиму, детей нечем кормить, они замерзнут”; “Лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться”. В отделе народного образования она надеялась получить место преподавателя английского языка. Мотив самоубийства – освободить от себя детей. Как все похоже: гибель, мотивы... Это и создало укрепившееся на долгие годы мнение, что Санникова покончила с собой под влиянием Марины Цветаевой.

О. Дзюбинская вспоминала: “Из-за угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вместо галош, суковатая палка, черное пальто, застегнутое на все пуговицы: лицо – белое, как бумага.

– Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева. – И пошла дальше”.

Хоронили на чистопольском кладбище Елену Санникову Борис Алперс, его жена Галина, Виноградов-Мамонт и Ольга Дзюбинская.

Сыну Елены Санниковой не удалось спустя годы разыскать могилу матери, несмотря на то что, когда отец приехал с фронта за ними, они вместе ходили на кладбище. Время стерло все следы.

Завершая рассказ о Елене (Белле) Санниковой (девичья фамилия которой была Назарбекян), хотелось бы напомнить ее романтическую историю. В начале века она была одной из первых петербургских красавиц. Ее называли грузинская княжна Белла. В 1912 году в Териоках был организован летний театр, Мейерхольд ставил спектакли. В один из дней М. Кузмин, художницы Елена Бебутова и Яковлева и Белла Назарбек, которой был увлечен художник Сапунов, ушли на лодке в море. “Скоро, в ту же ночь, – писал А.А. Мгебров, – разыгралась страшная трагедия, которая темным ужасом легла на всю нашу дальнейшую жизнь в Териоках: далеко в море лодка каким-то образом перевернулась, и в то время как все держались за нее, крича о помощи, Сапунов, незаметно для других, исчез и утонул... Никогда я не забуду лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянными до ужаса...” Море Сапунова вернуло через одиннадцать дней. Говорили, что он хотел утонуть из-за любви к Белле.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.